

ТИХОН СТУЖЕВ

ВЫЧЕРКНУТЫЕ

Департамент нездешних дел

№ 12 *Обитает при доме Гурьевой, в Коломне.*

Не может касаться живого.

№ 13 *Обитает в наборщике Ш., Ямская.*

Не может выходить из носителя.

№ 1

№ 21

РЕТРО-ДЕТЕКТИВ

Петербург · 1893



Тихон Стужев

Вычеркнутые

<https://litres.ru/74547429>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он смотрел на мёртвого полторы минуты, отвёл взгляд — и забыл его лицо.

Петербург, 1893 год. В Российской империи нечисть состоит на государственном учёте: что вписано в Реестр, то связано строкой и не может ничего сверх написанного. Коллежский асессор Немов служит в Департаменте нездешних дел, потому что он единственный, кого нездешнее не берёт.

Но этого покойника не помнит никто. Ни дворник, второй год носивший ему молоко. Ни хозяйка, которая сама записывала его в домовую книгу: теперь на месте имени там ровная черта. Через девять дней так же умирает швея, и родная мать плачет, не зная по ком.

Этих людей не убили. Их вычеркнули: пером, по линейке, в книге, к которой Немова не подпустят. По три в месяц, без праздников, тринадцать месяцев подряд. Так не убивают. Так служат.

У того, кто это делает, есть список, срок и цель. И есть планы на самого Немова.

Первая книга цикла «Департамент нездешних дел». Все события, учреждения и документы вымышлены.

Содержание

Глава первая. Доходный дом на Гороховой	5
Глава вторая. Отделение дознаний	14
Глава третья. Савелий Кузьмич	24
Глава четвёртая. Малая Коломна	33
Глава пятая. Второй	44
Глава шестая. Мать	50
Глава седьмая. Выписка	57
Глава восьмая. Поднадзорные	63
Глава девятая. Отказ	71
Глава десятая. Решение	78
Г	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Тихон Стужев

Вычеркнутые

Глава первая. Доходный дом на Гороховой

Немов смотрел на мёртвого полторы минуты, отвёл взгляд — и забыл его лицо.

Это случилось так просто, что он сперва не поверил. Он стоял над телом, сложив руки за спиной, изучал его подробно и по порядку, чтобы после пересказать по памяти, а потом поглядел в окно, на мокрую поленницу во дворе, и обнаружил, что не может вспомнить, какой у человека нос.

Он посмотрел снова. Нос был самый обыкновенный.

Немов достал книжку, послунил карандаш и записал: «Мужчина, лет шестидесяти, волос седой, нос прямой, на левой брови рубец». Записывал он медленно, разборчиво, как учили в училище правоведения. Потом закрыл книжку, сосчитал про себя до двадцати, глядя в стену, и открыл её снова.

Строчка была на месте. Почерк был его. Человека за этой строчкой не было никакого.

Тогда он впервые за это утро почувствовал под ложечкой

холодок и понял, что дело, ради которого его подняли в девять часов и через весь город привезли на Гороховую, окажется хуже, чем ему обещали.

Обещали ему немного. Околоточный надзиратель, стоявший теперь в дверях, доложил внизу коротко: жилец двадцать второй комнаты найден мёртвым, врач был, сказал — удар, а Департамент вызвали потому, что дворник несёт вздор. Так и сказал: несёт вздор. В части не любили вызывать Департамент нездешних дел и делали это всегда с одним и тем же выражением лица, будто просили денег взаймы у дальней родни.

— Врач давно уехал?

— С час.

— А вы здесь с восьми.

— Так точно.

— И теперь одиннадцатый.

Околоточный промолчал. Объяснять ему Немов ничего не стал: околоточный был не виноват, виноват был заведённый порядок, по которому о смерти доносят сперва в часть, из части в управление, а уж из управления, если дело покажется неудобным, — к ним на Фонтанку. На эту дорогу уходило полдня, а иной раз и сутки, и Немов приезжал всегда последним, когда тело успевало остыть, а свидетели — сговориться.

— Сколько покойному лет?

— Кому?

— Покойному.

Околоточный открыл рот, закрыл, полез в книжку, перелистал её туда и обратно и поднял на Немова растерянные глаза.

— Не записано, ваше высокоблагородие.

— А врач вам не сказал?

— Сказал, поди. Я записывал.

Комната была узкая, чистая и бедная тою опрятной бедностью, которая обходится дороже неряшливости и требует от человека ежедневного усилия. Окно во двор, стол у окна, кровать у стены, комод, два стула. На столе лампа с закопчённым стеклом и стакан, накрытый от пыли блюдцем. Постель была разобрана, одеяло откинута углом — так откидывают его утром люди, привыкшие вставать рано и не залёживаться.

Человек лежал между кроватью и комодом, в исподнем, руки вдоль тела. Ни один стул не был опрокинут, и стакан на столе стоял ровно. Немов присел на корточки, осмотрел ладони, ногти, ворот рубахи. Ни борьбы, ни судороги, ни рвоты. Человек жил, потом встал с постели, потом перестал.

Руки у Немова были холодные, как всегда, с самого детства, в любую погоду и во всяком помещении. Он потёр их одна о другую, поднялся и выдвинул верхний ящик комода.

Бельё, сложенное стопкой в три рубахи. Щётка. Пустая жестянка из-под чая, в которой перекатывались две пуговицы. Во втором ящике две рубахи и запасные подтяжки, в

третьем сапожная мазь, свёрнутый ремень и гребень с выломанным зубом. Он задвинул ящики один за другим и ещё постоял перед комодом, не понимая, что именно его в нём не устраивает.

— Позовите дворника.

Дворник вошёл, комкая шапку, — крепкий рябой мужик лет сорока, который старательно смотрел в угол, где висело на гвозде платье, и только не в ту сторону, где лежал покойник.

— Пахомов?

— Игнат Пахомов, ваше высокоблагородие.

— Вы нашли?

— Я. Утром. Молоко ему носил, второй год ношу.

— Стало быть, вы его знали два года. Опишите его.

Дворник поглядел на Немова с полной готовностью человека, которому наконец задали лёгкий вопрос. Помолчал. Заморгал часто.

— Так вот же он лежит.

— Я не спрашиваю, где он лежит. Я спрашиваю, каков он был.

— Обыкновенный.

— Ростом?

— Средний. Вроде.

— Волосом?

Дворник молчал. Слышно стало, как во дворе кто-то колет дрова — неровно, с долгими передышками.

— Пахомов.

— Не помню я, — сказал дворник тихо. — Хоть режьте. Второй год молоко ношу, а лица не помню. Я, ваше высокоблагородие, думал, я его увижу сейчас и вспомню. А гляжу — и не вспоминаю.

Околоточный кашлянул в кулак и сказал, что оно бывает, мало ли народу за двадцать лет службы, все на одно лицо. Немов согласился, что бывает, записал в книжку: «Дворник, второй год, лица не помнит», — и почувствовал, как ноготь на левом указательном, обкусанный до мяса, мешает держать карандаш ровно.

— Как его звали?

Дворник открыл рот. Немов смотрел, как у крепкого сорокалетнего мужика медленно делается испуганное лицо: сперва в глазах, потом у рта.

— Ступайте во двор. Вы понадобятся.

Хозяйка жила на том же этаже, за дверью с медной табличкой, протёртой до блеска. Амалия Карловна оказалась немолодой, полной и очень прямой — из тех петербургских немок, у которых и горе разложено по ящикам, всякое в свой. Смерть жилья она назвала большим несчастьем и тут же прибавила, что оно совершенно некстати: перед Покровом комнату до весны не сдать. Платил покойный вперёд за месяц, всегда, и был человек очень порядочный, а порядочного она видит сразу, двадцать два года сдаёт.

— Как его звали?

Амалия Карловна открыла рот, и Немов увидел то самое, что минутой раньше видел у дворника: сперва уверенность, потом недоумение, потом испуг — и всё это в две или три секунды, на очень прямом и очень спокойном лице.

— У меня записано, — сказала она наконец.

— Покажите.

Она принесла книгу для жильцов, толстую, в клеёнчатом переплёте, положила на стол и раскрыла на нужной странице уверенным движением человека, знающего свои бумаги наизусть.

Двадцать вторая комната была в книге. Была цена, был помесечный расчёт, были отметки о взносах — аккуратные, одна под другой, двадцать две штуки, и против каждой число. Имени не было. Там, где ему полагалось стоять, шла ровная строка чернил, будто писавший провёл пером по линейке и забыл, зачем взялся за перо.

— Это вы вычеркнули?

— Я никогда не черкаю в книге, — сказала Амалия Карловна оскорблённо.

Немов поднёс книгу к окну и поглядел на страницу на просвет. Бумага была целая, без потёртости, без следа бритвы, и чернила легли поверх неё ровно, одним ходом, не спеша. Так не вычёркивают ошибку. Так проводят черту там, где писать было нечего.

— Вы помните, как его записывали?

— Помню отлично. Он стоял вот здесь, у притолоки, и

держал шапку. Я взяла перо.

— И?

Она молчала долго, глядя на собственную руку, лежавшую на клеёнчатом переплёте.

— И взяла перо, — сказала она.

Немов вернулся в двадцать вторую и искал час с четвертью.

Он вынул все ящики и поставил их на кровать, перебрал бельё рубаха за рубахой и прощупал швы. Снял постель и прошёл тюфяк по всей длине обеими руками. Отодвинул комод, поднял у окна половицу, которая чуть играла под каблуком, и запустил в щель руку по локоть. Вынул из печи вьюшку, сунул голову в устье и вымазал сажей плечо. Вывернул карманы висевшего в углу платья, вытряхнул оба сапога, снял со стены зеркальце и поглядел, что за ним.

Паспорта не было. Не было вида на жительство, метрики, отпускного свидетельства, увольнительной от общества, квитанции, счёта от прачки, письма, конверта, обрывка конверта с адресом. Не было визитной карточки, календаря с отметками, не было даже газеты, на полях которой всякий человек рано или поздно записывает цифру или чужую фамилию.

В комнате, где человек прожил два года, не нашлось ни единого клочка бумаги.

Немов сел на стул у стола и положил руки на колени. Он служил в Отделении дознаний девятый год и хорошо знал,

как выглядит жильё, из которого бумаги вынесли: оно выглядит разорённым — выдвинуты ящики, сброшены вещи, вспорот тюфяк, — и всегда, непременно, что-нибудь да забыто под шкафом, за печью или в кармане старого платья. Человек не может жить без бумаги. Она заводится вокруг него сама, как пыль, и вывести её начисто не под силу никому.

Здесь было чисто. Здесь стоял на столе стакан, накрытый блюдцем, и лежало откинутае утром одеяло.

Отсюда ничего не выносили. Здесь просто нечего было выносить.

Он открыл книжку и перечёл свою утреннюю запись — про седой волос, прямой нос и рубец на левой брови. Потом поднял глаза на человека, лежавшего в четырёх шагах.

Рубца на брови не было.

Немов сидел неподвижно, чувствуя, как холодеют и без того холодные пальцы. Он не ошибался в приметах никогда, это была его служба и его единственное умение. Он встал, подошёл, наклонился и долго рассматривал бровь, на которой ничего не было и не могло быть.

Потом вернулся к столу, вырвал листок, переписал приметы заново и спрятал листок во внутренний карман, к сердцу, — не потому что так надёжнее, а потому что хотел чувствовать его через сукно.

— Ваше высокоблагородие, — сказал от двери околоточный. — Так мне записывать удар?

— Запишите, что личность не установлена.

— Как же не установлена, — сказал тот с обидой за свой участок. — Вот он, личность. Второй год живёт. И хозяйка его знает, и дворник.

— Назовите его.

Околоточный поглядел в книжку. Полистал. Перевернул страницу назад, потом снова вперёд, и Немов увидел, как у него белеют пальцы на клеёнчатой обложке.

— Ваше высокоблагородие, — сказал он совсем другим голосом. — Я же записывал.

Глава вторая. Отделение дознаний

Рапорт Немов переписывал начисто третий раз, и третий раз выходило нехорошо.

Беда была не в слоге. Слог у него был отличный, сухой и ясный, его рапорты в Отделении ставили в пример молодым и однажды даже подшили один в образцовые. Беда была в третьем пункте.

Господину начальнику Отделения дознаний.
Рапорт. 1. Сего 29 сентября в доме Кайдановой по Гороховой улице, в комнате № 22, обнаружен мёртвым жилец означенной комнаты, мужчина лет шестидесяти. Врачом полицейской части смерть отнесена к удару. Следов насилия при осмотре не найдено. 2. При обыске комнаты бумаг, вида на жительство и иных документов не обнаружено вовсе. В домовое книжке и в книжке околоточного надзирателя Севастьянова на месте имени жильца проведена чернильная черта; бумага цела, не скоблена. 3. Личность умершего не установлена, поскольку

На этом слове перо останавливалось само. Дальше пола-

галось написать чёрным по белому: поскольку её никто не помнит. Ни дворник, второй год носивший ему молоко, ни хозяйка, ни надзиратель, ни сам коллежский асессор Немов, составляющий рапорт.

Так нельзя было писать. Так пишут прошения сумасшедшие.

Департамент нездешних дел занимал третий этаж жёлтого дома на Фонтанке, и в коридорах его пахло сургучом, мастикой для полов и мышами, которых травили дважды в год и не могли вытравить с самого учреждения. Шкафы стояли вдоль стен в два ряда, потому что комнат не хватало, и мимо них ходили боком. Служило в Департаменте по столичному штату сто четырнадцать человек. В Отделении дознаний — девять, не считая начальника. Восемь из этих девяти были одарённые: люди, которые чувствуют нездешнее, как иные чувствуют перемену погоды, — ладонью, затылком, зубами. Одарённый войдёт в дом и скажет, сидит ли в нём что-нибудь; положит руку на бумагу и скажет, в спешке ли её писали и в каком страхе. Брыкин называл их порченными по самой малости, но с пользой для отечества. За пользу они платили: кто чувствует нездешнее, того и нездешнее чувствует, и одарённого можно напугать, заморочить, отвести ему глаза — заставить не увидеть, забыть или увидеть другое.

Девятым был Немов. Неодарённых в доме хватало и без него: писцы, регистратор, сам Куницын. Их нездешнее брало так же, как одарённых, только они не понимали, что с ними

делают. Немова оно не брало вовсе, и за это его держали.

Он дописал рапорт, присыпал песком, сдул и понёс к начальнику.

Яков Осипович Куницын, статский советник и начальник Отделения, сидел над бумагами в шинели внакидку. Печи в Департаменте топили с первого октября. На дворе было двадцать девятое сентября, и до первого числа здесь мёрзли принципиально. Он читал рапорт долго, шевеля губами на числах, потом снял очки и поглядел на Немова тем особенным взглядом, каким начальство глядит на подчинённого, принёсшего лишнюю работу.

— Аркадий Ильич. Голубчик. Что вы мне принесли?

— Рапорт по Гороховой.

— Я вижу, что рапорт. Я спрашиваю, что вы мне принесли.

Немов сказал, что принёс дело, которое, по его мнению, подлежит производству по второму разряду. Куницын ответил, что дела второго разряда стоят Департаменту денег, людей и объяснений с управлением, а в предъявленном рапорте он не видит ни единого признака, который отличал бы его от обыкновенной смерти обыкновенного старика в меблированных комнатах.

— Врач сказал — удар. Вы врача слышали?

— Я врача не застал.

— И прекрасно. Значит, спорить не с кем. Пишите: скоропостижно, личность устанавливается, — и в регистратуру.

— Личность не устанавливается.

— Так напишите, что устанавливается, и она через месяц установится сама. Всегда устанавливается.

Немов молчал. Он знал за собой свойство, которое одни считали упрямством, а другие тупостью: он не умел спорить голосом. Он умел другое: выкладывать на стол по одному предмету, пока стол не делался убедительнее всякого голоса. Немов вынул из папки два листа и положил их перед Куницыным рядом, один к одному.

Первым был лист из домово́й книги Амалии Карловны, снятый со страницы на просвет и обведённый его собственнóй рукой. Вторым — выписка из книги околоточного надзирателя Севастьянова, который вёл её девятнадцатый год и на памяти управления не терял ещё ни одной записи.

В обеих книгах против двадцать второй комнаты стояла ровная строка чернил.

— Две книги, Яков Осипович. Разных людей, в разных домах, в разное время. Обе целы, обе не скоблены. Имени нет ни в одной, и оба писавших помнят, как брались за перо, и не помнят, что писали.

Куницын надел очки, придвинул листы и стал рассматривать их долго и молча.

— Кто-нибудь трогал книги?

— Книга надзирателя при нём неотлучно.

— А хозяйкина?

— В её комнате, в шкафу. Шкаф заперт, ключ один.

Куницын откинулся на стуле, и стул под ним закрипел на всю комнату. Он был человек немолодой, служилый, без единой блестящей черты, и главное его достоинство состояло в том, что он умел признавать чужую правоту, если та стоила ему не слишком дорого.

— Порча документов, — сказал он наконец.

— Порча документов.

— Это уже наше.

— Это уже наше.

— Чёрт бы вас побрал, Аркадий Ильич, — сказал Куницын без всякого выражения и потянулся за чернильницей.
— Второй разряд. Поздравляю.

Дело завели в третьем часу. Делалось это так. Регистратор Пантелеймонов, глухой на левое ухо и оттого всегда поворачивавшийся к посетителю боком, брал папку и надписывал на корешке год, разряд и номер. Потом прошивал суровой ниткой в три дырки, заливал концы сургучом и прикладывал печать. С этой минуты дело переставало быть обстоятельством жизни и становилось единицей делопроизводства, которую нельзя ни потерять, ни закрыть без бумаги за подписью.

Немов любил эту минуту больше всего в своей службе и никогда никому в том не признавался.

— Номер четыреста семнадцатый, — сказал Пантелеймонов, дую на сургуч. — Наименование как писать?

— Пишите: о неустановленном лице, умершем в доме

Кайдановой по Гороховой улице.

— Длинно.

— Пишите как есть.

Из регистратуры он спустился этажом ниже, где помещался справочный стол, и спросил, не проходило ли по Департаменту за последние годы дел с похожим признаком: чтобы имя пропадало из книг, а люди не помнили лица. Ему ответили, что для такого запроса надобно знать разряд, год и хотя бы приблизительное наименование. Без того справка не наводится: дел в хранении семьдесят тысяч, и по свойству в них не ищут. Отвечавшие были совершенно правы. Немов поблагодарил и пошёл обратно.

Стол Немова стоял у окна, третьим от двери, и сосед справа, титулярный советник Ряхин, при его приближении всегда немного отодвигался вместе со стулом. Делал он это не нарочно и сам за собою не замечал. Так отодвигаются от сквозняка.

Одарённые чувствовали Немова плохо. Он был для них не то чтобы пуст — скорее глух, как бывает глуха комната без эха, и рядом с ним всякий из них ощущал лёгкую неловкость, какую здоровый человек ощущает рядом со слепым. Немов давно привык и научился не входить без нужды в чужие разговоры.

— Правда, что Куницын вам второй разряд подписал? — спросил Ряхин, не оборачиваясь.

— Подписал.

— По старику с Гороховой?

— По нему.

— Покажите.

Немов подал ему выписку из книги надзирателя. Ряхин взял её так, как брал всякую бумагу по делу: положил на стол и накрыл ладонью, не читая. Так он читал — рукой. Он мог сказать по листу, торопился ли писавший, лгал ли, стоял ли кто у него за плечом. За это его и держали.

Он держал ладонь секунды три. Потом отдёрнул, как от плиты, и посмотрел на руку.

— Там ничего нет, — сказал он. — Не чисто, а нет. На чистом листе хоть бумага есть. А тут будто руку в прорубь сунул и дна не достал.

Он взял линейку и линейкой, не касаясь, пододвинул лист обратно к Немову. Пальцы у него были белые.

Немов взял выписку, подержал, перевернул. Бумага была как бумага.

— Вы ничего не слышите, — сказал Ряхин. Не спросил.

— Ничего.

— Вот поэтому вам и отдали. Любой из нас на Гороховой через час забыл бы, зачем пришёл. Вы хоть записали.

Он отвернулся и до конца дня к нему не поворачивался.

В четвёртом часу Немов достал из кармана сложенный вчетверо листок и перечёл приметы, написанные утром своей рукой. Седой волос, прямой нос. Он закрыл глаза и попробовал собрать по этим словам лицо.

Слова были на месте, все до одного. Лица за ними не собиралось.

На площадке второго этажа его окликнули по имени и отчеству.

Модест Аркадьевич Пшеничный, вице-директор Департамента, спускался сверху, держа под мышкой папку и на ходу дочитывая какую-то бумагу. Был он лет пятидесяти, невысок и сухощав. Мундир сидел на нём безупречно. Лицо он имел приветливое и умное, из тех, что нравятся сразу и без усилия. Немов посторонился и поклонился.

— Аркадий Ильич. Вы сегодня были на Гороховой.

— Был, ваше превосходительство.

— Скверно?

Немов ответил, что покамест не может сказать определённо. Пшеничный кивнул, точно получил исчерпывающий ответ, и спрятал бумагу в папку. Потом спросил, топят ли уже в Отделении дознаний. Услышав, что не топят, сказал, что распорядится: люди должны работать в тепле, а не в шинелях. Он бьётся с хозяйственной частью третий год и третий год проигрывает. Говорил он негромко, не торопясь и ни разу не взглянув мимо собеседника, чего Немов не встречал ни у одного начальства.

— Куницын просил меня передать дело в третье отделение, — сказал Пшеничный. — Я отказал.

— Почему, ваше превосходительство?

— Потому что в третьем отделении шесть человек, и все

шестеро одарённые. А вы, Аркадий Ильич, единственный во всём Департаменте, на кого нездешнее не действует вовсе. — Он улыбнулся коротко и без всякой снисходительности. — Мне бы не хотелось, чтобы по этому делу ходил человек, которому можно отвести глаза.

Немов сказал, что понимает.

— Я сам по писательской части, Аркадий Ильич, хоть и числюсь по другой, — прибавил он без всякого нажима, как говорят о чине или о годе рождения. — Это к тому, что если вам понадобится совет о Реестре, идите прямо ко мне и не стесняйтесь.

— Вам понадобится Архив, — продолжал Пшеничный. — Там сидит девица Тенишева, особа резкая, но дело своё знает лучше начальника Архива, и я бы на вашем месте не ссорился с нею в первый же день. Вам понадобится также Савелий Кузьмич Брыкин, и вот с ним я бы на вашем месте пил поменьше.

— Я не пью, ваше превосходительство.

— Тем хуже для Савелия Кузьмича.

Он переложил папку из-под правой руки под левую и двинулся вниз, но на третьей ступени остановился и обернулся — без всякой значительности, точно вспомнил пустяк.

— Аркадий Ильич. Один вопрос, и простите мне его нелепость. Вы ведь никогда ничего не забываете?

Немов стоял на площадке, чувствуя во внутреннем кармане, у самого сердца, сложенный вчетверо листок с примета-

ми: седой волос, прямой нос, рубец на левой брови, которого на брови не было.

— Никогда, ваше превосходительство, — сказал он.

— Завидное свойство, — сказал Пшеничный и пошёл вниз.

Глава третья. Савелий Кузьмич

На Подьяческую Немов пошёл пешком, хотя от Фонтанки было далеко и накрапывало. Идти пешком он любил: на ходу думалось по порядку, а сидя в конке он невольно разглядывал лица и запоминал все до одного, до родинки, и после не мог от них отделаться. Сегодня он впервые не был в этом свойстве уверен.

Брыкина он не предупредил. Предупредить значило бы дать человеку возможность отказать заранее, а Немов по службе усвоил, что отказывают охотнее на бумаге, чем в лицо.

Дверь открылась прежде, чем он успел постучать второй раз.

— Не заперто, — сказали из глубины квартиры. — Вы полчаса топчетесь на площадке. Либо входите, либо ступайте, но не дышите мне под дверью.

Брыкин жил в двух комнатах на Подьяческой, в первом этаже, окнами на глухую стену соседнего дома. В комнатах было темно даже сейчас, в седьмом часу, и темнота эта не была уютной: так темнеет в помещении, где давно не отодвигали занавесок, потому что снаружи всё равно нечего смотреть.

Хозяин сидел за столом. На столе стояла лампа, штоф и стакан, лежала стопка бумаги и три пера.

Немов оглядел комнату и отметил то, что отмечал всегда и во всяком жилье, — несходство. Пол был не мыт по меньшей мере месяц. На подоконнике стояла тарелка с присохшей коркой. Зато бумага лежала стопкой, лист к листу, выровненная по краю, и три пера с серебряными оправками лежали ровно, одно подле другого, с одинаковым промежутком. Так содержат в порядке только то, к чему прикасаются ежедневно и с уважением. Человек махнул рукой на себя, но не на своё ремесло.

— Немов, — сказал Брыкин, не поднимая головы. — Аркадий Ильич. Из дознаний. Садитесь.

— Мы не представлены.

— Нас не надо представлять. Вас видно.

Брыкину было под шестьдесят. Он был грузен, брит, с крупным лицом, которое когда-то, должно быть, внушало доверие, а теперь внушало неловкость: кожа на нём обвисла, и веки набрякли так, что глаза казались прищуренными.

Он налил себе на палец и выпил. Немов заметил, что стакан он берёт двумя руками, а ставит на стол очень осторожно, будто чужую вещь, которую боится повредить. Руки у него дрожали крупно и непрерывно, и дрожь эта не проходила ни на минуту за весь вечер.

— Видно? — переспросил Немов.

— Вы входите в комнату, и в комнате делается тише. — Брыкин наконец посмотрел на него. Глаза у него были ясные и злые, совершенно трезвые глаза на нетрезвом лице. — Не

для вас, разумеется. Для меня. Я вас за версту чую, вы для нашего брата как прорубь: не видно, а холодом тянет. Что у вас?

Немов сказал, что пришёл за советом.

— За советом ходят к начальству. Оно на то и поставлено, чтобы советовать вздор бесплатно.

— Я был у начальства.

— И?

— Начальство подписало второй разряд и велело мне не морочить ему голову.

Брыкин захохотал, закашлялся и долго после этого сидел, положив обе руки на стол ладонями вниз, — видимо, чтобы их не было видно, как они ходят.

— Хорошо, — сказал он. — Я вас слушаю четверть часа. Потом вы уйдёте. Условие одно: не врать. Врать мне сегодня будут ещё трое, я не в силах.

Немов рассказал про Гороховую. Он рассказывал по порядку, как писал рапорт: комната, тело, дворник, хозяйка, обыск, отсутствие бумаг. Про листок с приметами и про рубец, которого не было на брови, он не сказал. Брыкин слушал, разглядывая штоф, и один раз, на середине, потянулся к нему и не налил.

— Так, — сказал он, когда Немов кончил. — Теперь вопрос. Вы девятый год в дознаниях. Вы знаете, что такое Реестр?

— В общих чертах.

— Скажите в общих чертах.

— Книги, в которых Департамент ведёт учёт нездешнего.

— Учёт, — повторил Брыкин. — Прекрасно. Вы девять лет служите в учреждении, которое держит на привязи всё, что водится от Вислы до Камчатки, и полагаете, что мы ведём учёт. Как в лавке. Прикажете думать, что мы их пересчитываем по головам?

Он встал, и встал тяжело, опираясь о стол обеими руками. Прощёл к комоду, достал из ящика лист и бросил его перед Немовым.

Лист был отпечатан типографским способом: бланк выписки из Реестра, какие рассылают по губернским отделениям. В середине его шли четыре строки, писанные от руки.

— Читайте вслух.

— «Обитает при доме коллежской ассессорши Гурьевой, что в Малой Коломне. Может шуметь в ночные часы, передвигать утварь малого весу, являться в виде человеческом. Не может касаться живого, выходить за ограду двора, являться до заката».

— Дальше.

— Дальше подпись.

— Моя подпись, — сказал Брыкин. — Одна тысяча восемьсот семьдесят шестого года. Теперь скажите мне, Аркадий Ильич: почему оно не может коснуться живого?

Немов помолчал.

— Потому что так записано.

— Именно, — сказал Брыкин и сел. — Именно. Не потому, что не хочет. Не потому, что боится. Потому что так записано. Строка — это не опись имущества, это границы существа. Что в неё вошло, то оно и может, а чего не вошло, того для него нет на свете. Мы не считаем их, Аркадий Ильич. Мы их пишем.

В комнате стало слышно, как на Подьяческой проехали дрожки.

— А незаписанные? — спросил Немов.

— А незаписанных ничто не держит. Зато и защиты у них никакой. Незаписанное можно извести, и дознания не будет, потому что по бумагам его не было. — Брыкин усмехнулся углом рта. — Славная, знаете ли, симметрия. Мы даруем им границы и вместе с границами право быть. Как государь даровал крестьянам волю. Тоже ведь в бумаге.

— Кто может вносить?

— С писатели. Нас девятнадцать на всю империю.

— Немного.

— Достаточно. — Брыкин снова потянулся к штофу, и на этот раз налил. — Всякая запись что-нибудь у пишущего отнимает. У меня их тысяча четыреста шестьдесят одна. Я хожу с палкой, я не могу держать перо одной рукой, и я знаю, в каком году умру, с точностью до полугода. Это, Аркадий Ильич, не жалоба, это ответ на ваш следующий вопрос, который вы из вежливости не задали.

Немов не сказал ничего.

— А чтобы внести, — продолжал Брыкин, — надо узнать истинное имя. Не кличку, не прозвание, которым его зовут в деревне. Имя. Узнать его трудно, и всякий, кто по нему вписал, привязан к этому существу до собственной смерти и отвечает за него головой. Вот вам всё устройство. Теперь можете идти, четверть часа кончилась.

— Ещё один вопрос, Савелий Кузьмич. Что бывает, если в записи ошибиться?

Брыкин поставил стакан и очень долго молчал.

— В шестьдесят восьмом году, — сказал он наконец, — в Тверской губернии один писарь внёс запись в четыре строки. Хороший был писарь, аккуратный. В третьей строке он написал: не может выходить из воды на сушу в дневные часы. Он полагал, что пишет про дневные часы. А запятая у него стала не там, где надо, и вышло, что не может выходить на сушу, — а про часы отдельно и ни к чему.

— И?

— И оно вышло ночью. Взяло четверых с мостков, включая самого писаря. — Брыкин поднял на Немова ясные злые глаза. — Его после нашли, он был в трёх шагах от воды и держал в руке свой экземпляр выписки. Он, я думаю, успел прочесть и понять, где именно ошибся. Вот это, Аркадий Ильич, и есть наша служба. Не заклинания. Не кресты. Запятая.

Немов сидел неподвижно.

Он видел по службе достаточно, чтобы не пугаться рассказов. Но он всю жизнь писал бумаги и знал цену запятой с

другой стороны — со стороны канцелярии, где неверно поставленный знак означает переписку на три месяца и выговор в формуляр. Мысль о том, что за той же самой запятой могут стоять четверо на мостках, укладывалась в голове плохо и не укладывалась совсем.

За стеной кто-то передвинул стул, и в темноте этот обыкновенный звук показался ему неприятным.

— Теперь вы понимаете, зачем вас держат, — сказал Брыкин будничным голосом. — Вы глухой. Вас нездешнее не видит, не морочит и не боится. Вы можете войти туда, где меня через минуту вынесут вперёд ногами. Прекрасное свойство для отмычки. С писателем вам не быть никогда: над именами у вас власти нет и не будет: найти имя вам нечем. Прочесть найденное другим — сможете, как всякую бумагу.

— Я знаю.

— Знаете, — сказал Брыкин. — Но не любите, когда вам напоминают. Все не любят.

Немов поднялся, поблагодарил и надел шинель. Он застёгивался медленно, крючок за крючком, и думал о том, что старик за столом, вероятно, единственный человек в Петербурге, который сегодня сказал ему правду, и что правда эта обошлась старику в тысячу четыреста шестьдесят одну запись. Уже застёгиваясь, он сказал — не потому что рассчитывал на что-то, а потому что привык выкладывать на стол всё:

— В двух книгах, Савелий Кузьмич. В домовой и в поли-

цейской. В обеих на месте имени проведена черта. Бумага целая, не скоблена. И оба, кто писал, помнят, как брались за перо.

Штоф стоял на столе, наполовину полный. Брыкин посмотрел на него и не притронулся.

Потом он встал — быстро, без палки, без стола под руками, — прошёл к окну и отдёрнул занавеску. За окном была глухая стена соседнего дома, и больше ничего.

— Сколько их? — спросил он, не оборачиваясь.

— Один.

— Пока один.

— Что вы сказали?

— Я сказал: ступайте. — Голос у Брыкина был ровный и совершенно трезвый. — Ступайте, Аркадий Ильич, и больше ко мне с этим не приходите. Ни завтра, ни через неделю. Я вам не помогу, а погубить вас мне будет неприятно, я к вам, кажется, расположился.

— Савелий Кузьмич...

— Дверь за собою притворите. Не запирайте, просто притворите.

Немов вышел на лестницу и притворил дверь, как было велено.

Внизу хлопнула парадная, потянуло со двора холодом и мокрым камнем. Он постоял на площадке, считая до двадцати, — привычка, которой он сам стыдился, но от которой не избавился.

За дверью, в темноте, было тихо, и ни разу — ни пока он спускался, ни пока стоял внизу, застёгивая шинель, — оттуда не звякнуло стекло о стекло.

Глава четвёртая. Малая Коломна

Дом коллежской ассессорши Гурьевой он нашёл в одиннадцатом часу ночи, и нашёл не по адресу, а по тишине.

Малая Коломна и днём была тихим местом — деревянные дома в один этаж, палисадники, заборы, — а ночью в ней не было ни фонарей, ни прохожих, ни собачьего лая. Немов шёл по Псковской, сверяясь с номерами, и заметил, что лай смолк за квартал до нужного дома и дальше не начинался. Собаки были: он видел будку во дворе напротив, и в будке кто-то лежал. Просто молчали.

Он не собирался сюда. Он вышел от Брыкина с прямым приказом больше не приходить, постоял внизу, считая до двадцати, и понял, что не пойдёт домой. Старик прочёл ему четыре строки — «может шуметь в ночные часы, передвигать утварь малого весу, являться в виде человеческого; не может касаться живого, выходить за ограду двора, являться до заката» — и Немов девять лет служил в Отделении дознаний, входил туда, куда одарённым входить не велели, — всегда после, всегда днём, когда описывать оставалось стены, — и ни разу не видел того, о чём писались такие строки. Он читал их в делах. Он подшивал их. Он верил им так, как верят ведомости: потому что положено.

Теперь ему надо было увидеть.

Дом стоял за низким забором, в глубине палисадника,

тёмный, с одним освещённым окном в мезонине. Немов остановился у калитки и стал ждать, сам не зная чего.

Ждать пришлось недолго.

Сперва он услышал: в доме, за тёмными окнами, что-то передвинули. Негромко — как передвигают табурет, взяв его за ножку. Потом ещё. Потом на крыльце стукнуло, будто уронили ложку, и стук был именно ложечный, жестяной, ни с чем не спутать.

Потом на крыльцо вышел человек.

Немов не сразу понял, что это не человек. Фигура была человеческая, в рост, в чём-то тёмном, и двигалась по-человечески — сошла с крыльца, прошла по дорожке. Только шагов не было слышно. И иней, павший к ночи, оставался под нею ровным.

Она дошла до калитки и остановилась.

Немов стоял по другую сторону, в двух шагах. Он видел её теперь ясно — насколько можно видеть ясно то, у чего нет лица, а есть место, где лицо должно быть. Она не смотрела на него. Она смотрела на улицу, мимо, сквозь, — и он понял, что для неё у калитки никого нет.

Она стояла у ограды, как стоят у стекла.

Он ждал, что она попробует — толкнёт калитку, перешагнёт, потянется. Она не пробовала. Она стояла ровно у той черты, где кончался двор, и не делала попытки её перейти, потому что попытки не было в ней предусмотрено. Не могла — значило не «не удавалось». Значило: не было такой воз-

возможности на свете.

Так работала третья строка Брыкина. Семнадцать лет. Немов открыл калитку и вошёл во двор.

Он сделал это прежде, чем успел решить, и, войдя, встал рядом с ней — в шаге, не дальше. Она не шевельнулась. Она стояла и смотрела на улицу, и Немов стоял и смотрел на неё, и между ними было расстояние вытянутой руки, и она не знала, что он есть.

Так вот что это, подумал он. Вот что значит «не берёт».

Он бывал в комнатах, где одарённые чувствовали нездешнее, — видел, как они бледнеют, как отодвигаются, как выходят курить. Сам он не чувствовал никогда, и всю жизнь думал, что это значит: не чувствую. Оказалось, это значит иное. Не «я не вижу их». А «они не видят меня».

Он был для неё стеной. Пустым местом в шаге от неё.

В будке напротив, через улицу, завозилась собака.

Фигура повернула голову — медленно, всем корпусом, как поворачиваются те, у кого нет шеи, — и Немов увидел, что она смотрит на будку. Не на него. На собаку, которая была живая, тёплая и лежала в двадцати шагах за забором.

Она подняла руку.

Рука была человеческая — пять пальцев, рукав — и потянулась через калитку, к улице, к будке, и остановилась. Не у калитки — раньше. На ладонь от ограды. Так останавливается рука у горячего. И осталась висеть в воздухе, вытянутая, не дрожа, — и Немов понял, что она будет висеть так,

пока собака не уснёт, и что это повторяется каждую ночь, семнадцать лет, и что «не может касаться живого» — это не запрет. Это голод, которому написали границу.

По Псковской, со стороны канала, шёл человек — поздний, в чуйке, с узлом под мышкой, должно быть мастеровой из бани. Фигура повернулась к нему всем корпусом и повела за ним тем местом, где полагалось быть лицу, — шаг за шагом, как ведут глазами.

Мастеровой поравнялся с калиткой, снял шапку и поклонился.

— Доброй ночи, барыня, — сказал он ей. — Не спится?

Он смотрел прямо на неё и видел, по всему, старуху в чепце, хозяйку, вышедшую к калитке подышать. Надел шапку — и, не дойдя двух шагов, перешёл на другую сторону улицы, сам не зная зачем, и пошёл быстрее. На Немова, стоявшего рядом с ней в шинели, он не взглянул.

Вот это и называлось «отвести глаза». Оно не пряталось. Оно показывало человеку то, что ему спокойнее видеть, и человек сам обходил его стороной.

Он простоял рядом с ней час.

За этот час она дважды опускала руку и дважды поднимала. Один раз ушла в дом — там опять передвинули табурет, — и вернулась. Собака в будке заснула, и рука опустилась, и фигура снова стала смотреть на улицу, где никого не было, кроме Немова.

В окне мезонина шевельнулась занавеска. Старуха в чепце

поглядела вниз, на двор, на калитку, на человека в шинели, стоявшего рядом с тем, что жило у неё семнадцать лет, — и опустила занавеску обратно. Не испугалась. Привыкла.

Немов вышел за калитку и притворил её.

Собака в будке напротив проснулась, подняла голову и залаяла — на него. Первый лай за весь квартал, хриплый, спростонья.

Живое его видало. Нездешнее — нет.

Он шёл домой по Псковской и думал о четырёх строках на бланке, написанных двумя дрожащими руками в тысяча восемьсот семьдесят шестом году, — и о том, что эти четыре строки только что стояли рядом с ним во дворе и тянули руку к собаке. Не бумага. Не учёт. Поводок, на котором держат голод, и держат словами.

А ещё он думал: если поводок можно написать, его можно и стереть.

Утром он пошёл в Архив.

В Архив пускали по расписке.

Расписку брали внизу, у пристава, и в ней значилось, что предъявитель обязуется не выносить, не переписывать и не сообщать. Немов расписался, отдал перо и поднялся на четвёртый этаж, куда вела отдельная лестница, узкая и без окон, освещённая двумя лампами на весь пролёт.

Дверь наверху была обита железом, и перед нею, на табурете, сидел отставной унтер с медалями за турецкую кампанию. Он взял у Немова расписку, поглядел на подпись, по-

том на лицо, потом снова на подпись и только после этого отворил.

Весь этот порядок был заведён не от важности. Немов знал по бумагам, что за сто семьдесят лет Архив горел дважды, и оба раза не от свечи.

Он ожидал увидеть хранилище, а видел канцелярию. За дверью открылась длинная комната с низким потолком, разгороженная шкафами на клетки, и в клетях, за конторками, сидели люди и писали. Где-то в глубине, за третьим или четвёртым рядом шкафов, стояли книги Реестра. Немов их никогда не видел. Добраться до них можно было только насквозь через эту комнату, а комната была устроена так, что всякий идущий проходил мимо шести конторок. И за каждой из шести поднимали голову.

Начальник Архива, надворный советник Замятнин, принял Немова стоя и говорить с ним стоя же и продолжал, чем давал понять, что разговор будет недолгим.

— По Реестру справок не выдаём.

— Мне не нужна справка по Реестру.

— Тогда чего же вам угодно?

Немов сказал, что ему нужно одно слово: да или нет. Вносился ли в Реестр человек, умерший двадцать девятого сентября в доме Кайдановой по Гороховой улице. Не строка, не формулировка, не имя — только да или нет.

— А как я вам отвечу, если у вас нет имени?

— По адресу.

— Реестр ведётся не по адресам, а по именам. — Замятнин поднял палец. — И даже если бы велся по адресам, я бы вам не ответил, потому что «да» и «нет» по Реестру суть такая же справка, как и всякая иная, и выдаётся за подписью вице-директора. Испросите подпись — получите ответ.

— Дело четыреста семнадцатое, второй разряд.

— Хоть первого.

— Человек мёртв, Нил Петрович.

— Мёртвые, Аркадий Ильич, ждать умеют лучше живых.

Спорить было не с чем: начальник Архива был прав по всем пунктам.

— Кроме того, — прибавил начальник Архива, — по адресам у нас и картотеки не заведено, так что вы просите невозможного даже теоретически.

— Заведена, — сказали из-за шкафа.

Из-за конторки во второй клетке поднялась женщина лет двадцати семи, в тёмном платье с белым воротником.

Немов отметил про себя две вещи. Руки у неё были в чернилах до второй фаланги. Рукава схвачены чёрными нарукавниками, какие носят писцы-мужчины и каких не носит ни одна женщина, если у неё есть выбор.

— Заведена с семьдесят девятого года, Нил Петрович. Домовая роспись, шкаф одиннадцатый, нижние полки. Вы её сами велели завести, когда искали по Литейной.

— Это вспомогательная роспись, Вера Аполлоновна.

— Вспомогательная. Но она есть.

Замятнин пожевал губами, сказал, что выдача сведений из вспомогательной росписи подчинена тому же порядку, и удалился к себе, сохранив осанку.

Женщина посмотрела ему вслед, потом на Немова, без всякого стеснения и довольно долго.

— Вы Немов из дознаний.

— Я.

— Про вас говорят, что вас не берёт.

— Говорят.

— И как это?

Немов подумал.

— Как быть глухим в комнате, где поют, — сказал он. —

Все слушают, а ты смотришь на лица.

Она чуть двинула бровью и отвернулась к конторке.

— Справки я вам не дам.

— Я понимаю.

— Нет, вы не понимаете. — Вера Аполлоновна говорила негромко, не оглядываясь на клетки, где шесть человек писали и не поднимали голов чересчур старательно. — Я вам её не дам не потому, что боюсь Нила Петровича, а потому, что в Архиве всё записано дважды, и второй раз — в журнале выдач. Вы уйдёте со справкой, а через неделю вас спросят, откуда она, и вы ответите честно, потому что вы, судя по лицу, лгать не умеете.

— Не умею.

— Вот и не будем.

Она села, придвинула чернильницу и начала писать.

Немов понял, что беседа окончена. Он постоял, застегнул одну пуговицу шинели, потом расстегнул её обратно.

— Вера Аполлоновна. Скажите мне хоть, о чём мне просить вице-директора. Я не знаю вашего порядка. Если я испрошу не то, мне откажут по форме, и я потеряю неделю.

Перо остановилось.

Она отложила его, вытерла пальцы о тряпицу, лежавшую тут же, и повернулась к нему целиком. Лицо у неё было некрасивое и очень живое — из тех лиц, которые не запоминаются по частям, а запоминаются разом.

— Просите выписку по признаку, — сказала она. — Не по имени, имени у вас нет. По признаку: были ли за такой-то срок случаи утраты записи в домовых и полицейских книгах. Это не Реестр, это делопроизводство, и такие прошения вице-директор подписывает не читая.

— Такие случаи бывали?

— Я этого не говорила.

— Я спрашиваю.

Вера Аполлоновна встала, подошла к шкафу, стоявшему у самой перегородки, и сняла с полки журнал в сером коленкоре — не открывая, держа его в руках, как держат вещь, которую ещё не решили показать.

— Журнал запросов, — сказала она. — Сюда пишут всякого, кто о чём спрашивал Архив. Год, месяц, чин, существо запроса. Его никто никогда не читает, потому что он не ну-

жен ни для чего.

— И?

— И год назад о том же самом уже спрашивали. Слово в слово: об утрате записей в домовых книгах.

В комнате было тихо, только скрипели перья в клетях, все шесть.

— Кто спрашивал? — сказал Немов.

Она раскрыла журнал на заложенном месте — заложено было бумажкой, и бумажка была старая, потёртая по сгибу, из чего Немов заключил, что страницу эту открывали не в первый раз и не во второй.

— Титулярный советник Тенишев, Аполлон Порфирьевич, — прочла она ровным голосом. — С писательской части.

— Ваш родственник?

— Мой отец.

Она закрыла журнал и поставила его на полку, корешком вровень с остальными.

— Он умер в прошлом октябре, — сказала Вера Аполлоновна. — И справки вы у меня всё равно не получите, Аркадий Ильич. Испрашивайте подпись.

Немов спустился по узкой лестнице, отдал расписку внизу и вышел на Фонтанку.

Он думал о закладке. Страницу эту открывали много раз, и открывала её женщина, которая только что сказала ему, что журнала запросов не читает никто и никогда.

Она читала его весь год.

Глава пятая. Второй

Второго нашли через девять дней, на Васильевском, в Восьмой линии.

Немову доложили в начале одиннадцатого.

Всю дорогу через Николаевский мост он твердил себе, что совпадение есть совпадение. В городе с миллионом жителей умирает по сорок человек в сутки, и всякий сыщик, который начинает связывать две смерти без оснований, кончает тем, что связывает двадцать.

Нева была свинцовая, с барашками, и ветер нёс над нею мелкий дождь пополам с угольной гарью. Немов сидел в пролётке, придерживая папку, и смотрел на этот дождь.

Он поднялся во второй этаж и в дверях понял, что ехал зря с этой мыслью. Она мешала смотреть.

Квартира была своя, не меблированная, из двух комнат, и в ней жила женщина.

Её звали — так сказала соседка, и так же сказал дворник, и оба сказали не сразу, — её звали как-то. Обоим было лет по сорок, оба были в здравом уме и ходили к покойнице чай пить по воскресеньям.

Она лежала у стола, боком, подогнув руку. Ей было лет сорок пять. Немов постоял над нею, привычно отвёл взгляд на окно, сосчитал до трёх и посмотрел снова, готовый к тому, что лица не вспомнит.

Он не вспомнил.

На этот раз он был к этому готов и сделал то, что придумал за эти девять дней.

— Игнатий Северьянович, — сказал он околоточному надзирателю здешнего участка. — Возьмите книжку. Опишите покойную, подробно, со всеми приметами, какие увидите. Не глядя на меня и не спрашивая. Я буду писать за вашей спиной.

— Зачем, ваше высокоблагородие?

— Затем, что я приказываю.

Они писали минуты три. Потом Немов взял обе книжки и положил рядом на подоконник.

У него было: волос тёмный с проседью, лицо круглое, нос короткий, на подбородке родинка.

У околоточного: волос светлый, лицо узкое, нос с горбиной, родинки нет.

Немов перечёл дважды. Потом поднял глаза на женщину, лежавшую в четырёх шагах, и увидел, что у неё тёмный волос с проседью и короткий нос, и что родинка на подбородке есть, — и понял, что сейчас, в эту самую минуту, видит не то же самое, что видит стоящий рядом человек.

— Сходится? — спросил околоточный с надеждой.

Немов молча протянул ему обе книжки.

Он смотрел, как человек читает. Околоточный прочёл сперва быстро, потом медленно, потом поднял глаза на покойную, потом опять в книжку. Лицо у него сделалось такое,

какое Немов уже видел дважды: у дворника Пахомова и у хозяйки Амалии Карловны. Сперва в глазах, потом у рта.

— Совершенно не сходится.

— Так я перепишу.

— Не смейте переписывать, — сказал Немов резче, чем хотел. — Отдайте книжку и получите расписку. Она пойдёт в дело.

Комната была бедная, но обжитая как следует, и обжитая одним человеком. Одна чашка на столе, одна на полке. У окна стояла швейная машина «Зингер» на чугунной станине, а на ней лежала работа — мужская рубаша, в которой был прострочен один рукав и начат второй. Нитка тянулась от иглы, и на конце её был узелок, завязанный, но не обрезанный.

Немов долго смотрел на этот узелок.

Он видел множество прерванных дел: недописанные письма, недоеденные обеды, недоигранные партии. Но в письме и в обеде есть отсрочка, их можно доделать завтра. Швея, завязавшая узелок, собиралась обрезать нитку через секунду — не завтра, не через час, через секунду, — и не обрезала.

— Канарейка чья? — спросил он.

Соседка, стоявшая в дверях, сказала, что канарейка её собственная и живёт у покойницы третий год, потому что у неё самой кошка. Потом заплакала и сказала, что ей стыдно: она плачет, а по ком плачет — не помнит.

Он вышел на кухню, постоял у окна и вернулся, когда почувствовал, что может говорить обыкновенным голосом.

Немов сел за стол и стал спрашивать.

Спрашивал он долго, подробно и без надежды, потому что уже знал, что услышит. Соседка помнила, что покойница шила хорошо и брала недорого. Помнила, что у неё был жених, давно, до холеры. Помнила даже, какое у неё было варенье, — морошковое, и она его сама не ела, а только угощала. Она не помнила ни лица, ни имени, ни откуда та родом, и на вопрос, как же они прожили бок о бок девять лет, ответила растерянно, что, верно, как-то жили.

Немов записывал всё подряд, не разбирая на важное и пустое. Он давно заметил, что у людей, которых расспрашивают о мёртвом, память держится не за главное, а за мелочь: за варенье, за нитку, за то, как человек держал чашку. Главное выветривается первым.

Здесь оно выветрилось всё, до последнего, а мелочь осталась. Это было как раз то, чего не бывает.

Дворник добавил, что жила тихо, шумов от неё не было и жалоб тоже.

Потом Немов обыскал квартиру, и обыск занял два часа, потому что квартира была своя и вещей в ней было втрое больше, чем в меблированной комнате на Гороховой.

Он перебрал корзину с лоскутом и выщупал каждый лоскут. Он вынул из машины шпульный колпачок и вытряс его на ладонь. Он снял со стены три литографии и осмотрел задники. Он открыл жестянку с пуговицами, высыпал их на стол и пересчитал — пуговиц было двести шесть. Он поднял тю-

фяк, отвернул половик, выгреб золу и просеял её через сито, найденное на кухне.

Ни паспорта, ни вида на жительство, ни метрики, ни свидетельства об уплате пошлины, ни заказной книжки, ни счёта, ни письма, ни конверта. У женщины, которая девять лет жила на заказ, не нашлось ни единой записи о заказчике. Ни одной цифры, ни одного адреса.

В квартире не было бумаги.

Немов сидел на корточках у печи, с ситом в руках и золой на манжетах, и думал, что в двух верстах отсюда, на Фонтанке, в запертом шкафу лежит журнал выдач, в котором записано всё, и книги Реестра, в которых записано всё, и семьдесят тысяч дел, в которых записано всё. Весь его мир стоял на том, что записанное остаётся.

Он встал, отряхнул руки и вышел на лестницу и постоял, положив руку на перила. Внизу, во дворе, дворник колот дрова, и звук был точно такой же, как девять дней назад на Гороховой, — неровный, с передышками.

Соседка вышла за ним и остановилась двумя ступенями выше.

— Ваше высокоблагородие. Я вот чего думаю. Вы у меня спрашивали, не уезжала ли она куда.

— Спрашивал.

— Она уезжала. Каждый год, осенью, о ту же пору. На день, на два. Говорила: надо отметить.

Немов очень медленно повернулся.

— Где отметить?

— Того не говорила. Скажет: Марфуша, завтра меня не будет, надо отметить, — и уедет. А наутро воротится и шьёт.

— В какое место, к какому числу, кому?

— Господи, да не знаю я, — сказала соседка и опять заплакала. — Я думала, по бабьему делу какому. Или по хозяйству. Мало ли куда человеку надо.

Немов достал книжку и записал — медленно, разборчиво, с новой строки: «Отмечалась ежегодно, осенью. Место неизвестно».

Потом посмотрел на эту запись и прибавил к ней два слова, которых до сих пор не позволял себе ни в одной бумаге по делу четыреста семнадцатому.

«Состояла где-то».

Глава шестая. Мать

Родня нашлась на третий день, и нашлась не через бумаги, а через соседку.

Марфуша, отплакавшись, вспомнила, что покойница раз в месяц носила кому-то гостинец — калач и четверть фунта леденцов. Куда носила, она не знала, но однажды провожала до угла и видела, что та села в конку до Смольного. В той стороне богаделен было три, и Немов обошёл все три за один день.

В первой, при Смольном соборе, содержались одни старики, и посетительниц с леденцами там не помнили. Во второй, купеческой, его продержали час и объявили, что сведений о призреваемых посторонним не сообщают. Он показал бумагу с печатью Департамента, и сведения сообщили. Сведений не оказалось никаких.

К третьей он подъехал в четвёртом часу, вымокший и злой на себя за то, что тратит служебный день на догадку, построенную на калаче и леденцах.

В Александровской его приняла надзирательница, женщина деловая и несчастная, и на вопрос о посетительнице с леденцами ответила сразу.

— Это к Пелагее Тихоновне. Дочь ходит.

Немов почувствовал, как у него стукнуло под ложечкой.

— Дочь ходила когда в последний раз?

— На той неделе была. Или на позапрошлой. Да вы у самой спросите, она нынче ясная.

Дом был старый, длинный, в два этажа, с выбеленными стенами и палисадником, где под дождём мокли две скамьи. По коридору навстречу прошла нянька с тазом. Из-за дверей слышались голоса — не разговор, а то ровное старушечье бормотание, которое в таких домах не смолкает ни днём, ни ночью. Немов вспоминал его потом чаще, чем хотел бы.

Палата была на восемь коек, чистая, с крашеным полом и запахом щей и карболки. У окна сидела старуха лет семидесяти пяти, очень прямая, в платке, и перебирала в подоле какие-то лоскутки — раскладывала их по цветам и снова сбивала в кучу.

Надзирательница сказала громко, в самое ухо, что вот пришёл господин из ведомства.

— Слышу, — сказала старуха. — Не глухая.

Немов взял табурет и сел напротив.

Он не знал, как начинать.

Он допросил на своём веку, должно быть, тысячу человек, и на всякий разговор у него был заведён свой порядок. С прислугой начинают с хозяев, с хозяев — с прислуги. С родни покойного начинают издалека и никогда не говорят главного первым: человек, услышав главное, перестаёт помнить и начинает горевать, а горе для дознания бесполезно.

Порядка на этот случай у него не было ни одного.

— Пелагея Тихоновна. К вам дочь ходит?

— Ходит, — сказала старуха. — Как же. Каждый месяц. Калач носит и леденцов.

— Когда была в последний раз?

Старуха подумала. Лоскутки в подоле замерли.

— Недавно.

— А звать её как?

Тишина в палате сделалась плотной. Кто-то на дальней койке заворочался и закашлялся.

Немов смотрел, как у старухи медленно меняется лицо, и это было хуже всего, что он видел за прошедшие десять дней, потому что менялось оно не как у дворника и не как у околоточного. Те пугались. Эта — нет.

— Как звать, — повторила она задумчиво. — Вот тебе и раз.

— Не помните?

— Ты погоди, милый. — Старуха подняла руку, будто останавливая его, и сама на эту руку посмотрела. — Ты погоди. Я сейчас.

Она молчала с минуту. Потом сказала совершенно спокойно:

— Не помню.

— А какая она из себя?

— Обыкновенная.

— Волосом?

— Тёмная. — Старуха помолчала и прибавила: — Или светлая. Тёмная.

— Сколько ей лет?

— Сорок пять ей в Покров было. Сорок пять.

Немов записал: «Сорок пять в Покров». Это была первая точная цифра о второй покойной, полученная им за три дня, и получил он её от женщины, которая не помнила её лица.

— Пелагея Тихоновна, а кроме дочери у вас есть кто?

— Никого. Муж помер в шестьдесят четвёртом. Сын в солдатах помер. Внучат не нажили.

— И дочь одна?

— Одна. — Старуха вдруг посмотрела на него прямо и очень ясно. — А ты чего спрашиваешь-то? Стряслось что?

Немов приготовился к этому вопросу по дороге сюда, в конке, и придумал два ответа, оба уклончивые. Теперь он смотрел в это ясное лицо и понимал, что оба ответа никуда не годятся.

— Она умерла, Пелагея Тихоновна. Восьмого числа.

Старуха не заплакала и не вскрикнула. Она опустила глаза в подол, взяла лоскуток, положила его к другому лоскутку, потом сняла обратно.

— Восьмого, — сказала она.

— Да.

— Я, значит, и не знала.

— Вам не сообщили.

— Кому сообщать-то, — сказала старуха. — Я тут никто. Я тут койка номер четыре.

Она подняла голову, и Немов увидел, что по лицу у неё

текут слёзы — ровно, без всхлипа, как текут у стариков, у которых уже не хватает сил плакать быстро.

— Вот что скверно, барин, — сказала она. — Я плачу, а по ком — не знаю. Ты мне скажи хоть, какая она была? Ты её видел?

Немов сидел на табурете, сцепив пальцы. Пальцы были холодные, как всегда.

Он видел её. Он стоял над нею два с половиной часа, он записал её приметы своей рукой и дал расписку околоточному, и он не помнил ничего, ни единой черты, и в книжке у него лежали два описания, своё и околоточного, и они не сходились.

— Она шила, — сказал он наконец. — Шила очень хорошо и брала недорого. У неё была соседка Марфуша, они пили чай по воскресеньям. Она варила морошковое варенье и сама его не ела, а только угощала. У неё в окне жила чужая канарейка, третий год, потому что у соседки кошка.

Старуха слушала, не утирая лица.

— Она работала до последней минуты, — сказал Немов. — У неё в машинке осталась рубаха, один рукав прострочен, второй начат.

— Она с двенадцати лет шьёт, — сказала старуха. — С двенадцати лет.

Они помолчали.

— Спасибо, барин, — сказала Пелагея Тихоновна. — Ты, я вижу, человек не злой. Только ты мне не то рассказал.

— Что же вам рассказать?

— Как её звали.

Немов встал. Он постоял немного, глядя в окно, за которым был двор, поленица и мокрая рогожа, — такой же двор, как на Гороховой, как на Восьмой линии, как везде в этом городе.

— Я узнаю, — сказал он. — Я вернусь и скажу вам.

— Ты не вернёшься, — сказала старуха беззлобно. — Все говорят.

В коридоре его догнала надзирательница и спросила, не будет ли каких распоряжений насчёт похорон, потому что если родни нет, то хоронить придётся от города, а от города хоронят в общей.

Немов сказал, что распоряжения будут, и вышел за ворота.

Дождь перестал. Со стороны Невы тянуло холодом, у забора стояла телега с дровами, и возчик, накрыв голову рогожей, неторопливо сбрасывал поленья прямо в лужу. Где-то за домами звонили к вечерне.

Немов стоял минут пять и ни о чём не думал. Потом достал книжку, перечёл сегодняшние записи и понял одну вещь, которая до этой минуты в голову ему не приходила.

Старуха на койке номер четыре была последним человеком на свете, кто помнил хоть что-нибудь. Не лицо и не имя — цифру. Сорок пять в Покров.

И если бы Немов не нашёл её сегодня, не осталось бы и

цифры.

Глава седьмая. Выписка

Из управления ответили в четверг, и ответ был вежливый.

В нём сообщалось, что по обоим случаям полицейской частью произведено дознание в установленном порядке, признаков насильственной смерти не обнаружено, и потому оснований к совместному производству управление не усматривает. Внизу стояла приписка от руки: «А что до утраты записей, то сие есть предмет внутреннего порядка ведомств, к коему полиция касательства не имеет».

Немов прочёл приписку дважды.

Написана она была не в грубость. В ней стояла чистая правда: утрата записи в домовоей книге не составляет предмета полицейского дознания. Если бы он сам сидел в управлении и получил такую бумагу из Департамента, он ответил бы то же самое и теми же словами.

Досадовать было не на что, и это злило больше всего.

— Я вам говорил, — сказал Куницын, забирая бумагу. — Вы, Аркадий Ильич, ищите помощи у людей, которым от вашей помощи одни убытки. У них раскрываемость. У вас черта в книге.

— У меня двое.

— У вас двое неустановленных лиц. Это, голубчик, не двое. Это ноль и ноль.

Возразить было нечего, и Немов не возразил.

Он взял отказ и понёс его в регистратуру. Пантелеймонов, повернувшись, как всегда, правым ухом, принял бумагу, прошил её в дело четыреста семнадцатое и надписал: «Отношение управления, лист одиннадцатый».

За две недели дело потолстело до одиннадцати листов. Из этих одиннадцати десять были перепиской о том, почему никто ничего не может сделать.

Ряхин отодвинулся вместе со стулом.

К вечеру Немов составил прошение на имя вице-директора — то самое, о выписке по признаку, — переписал начисто, отнёс в приёмную и получил ответ, что его превосходительство в отъезде до понедельника. Оставалось четыре дня. Он сложил бумаги в папку, завязал тесёмки и впервые за две недели ушёл со службы вовремя.

Стемнело рано, как всегда в октябре. На Фонтанке зажигали фонари, по чёрной воде шли от них жёлтые дорожки, и улица от этого казалась теплее, чем была.

Внизу, в вестибюле, у доски с приказами стояла Вера Аполлоновна.

Стояла она так, как стоят люди, которым решительно нечего читать на этой доске: близко, спиной к лестнице, не двигаясь. Немов сошёл, поклонился и хотел пройти мимо.

— Аркадий Ильич.

Он остановился.

— Вы подали прошение, — сказала она, не оборачиваясь.
— Вице-директор в отъезде.

— В отъезде.

— Он вернётся во вторник, а не в понедельник, и до четверга будет в комиссии. Ваше прошение ляжет к нему на стол через неделю, и он его подпишет, потому что он всё подписывает. Но неделя.

Немов сказал, что это ему известно.

— А третий может случиться раньше, — сказала Вера Аполлоновна.

В вестибюле былолюдно: шёл шестой час, служащие расходились, по лестнице стучали каблуки. Она стояла лицом к доске, и всякому проходящему видно было двух человек, которые не разговаривают друг с другом.

— Мне не нужна справка, — сказал Немов негромко. — Я не стану вас просить.

— Знаю, что не станете. Вы уже не просили — один раз.

Она сняла с доски приколотый кнопкой листок объявления о найме сторожа, поглядела на него и приколола обратно. Под листком осталась сложенная вчетверо бумага. Немов накрыл её ладонью и опустил в карман, и всё это заняло, должно быть, полторы секунды.

— Это не Реестр, — сказала Вера Аполлоновна. — Это вспомогательная домовая роспись, та самая, одиннадцатый шкаф. По ней справок не полагается, но и запрета на неё нет, потому что её для Нила Петровича никогда не существовало. Она не проведена ни по какой описи. Её как бы нет.

— Что в ней?

— Адреса. Читайте дома, не здесь.

Она пошла к выходу, потом остановилась и прибавила, не глядя:

— И не благодарите меня, Аркадий Ильич. Я это делаю не для вас.

Домой он не поехал.

До угла Чернышёва переулкa было триста шагов, и все триста он держал руку в кармане, на бумаге. Такого с ним не случалось ни разу. В чайной былолюдно, шумно и чадно от самовара. Он взял место в углу, спиной к стене, спросил чаю и развернул бумагу на столе, прикрыв её сверху шапкой.

Список был переписан её рукой, ровной строкой без нажима. Заголовок не было. В левом столбце шли адреса, в правом — числа: месяц и день, без года.

Гороховая, дом Кайдановой, комната двадцать вторая. Октября третьего.

Васильевский остров, Восьмая линия, дом Брюн, квартира шесть. Сентября двадцать восьмого.

Всего в списке было сорок строк.

Немов сидел над ним, не притрагиваясь к чаю, покуда тот не остыл совершенно.

За соседним столом извозчики спорили о цене на овёс. У самовара кто-то смеялся. Он слышал всё это очень отчётливо и как бы издалека — так слышно бывает, когда сидишь в тёплом трактире и знаешь, что сейчас придётся выйти на холод.

Оба его покойника были в этом списке, и это было первое за две недели, что их связывало. Не сословие, не возраст, не часть города, не занятие. Адрес в бумаге, которой как бы нет.

И число. Против каждого адреса стояло число — осеннее, сентябрьское или октябрьское.

Он перечитал список сверху донизу трижды, и на третий раз стало видно устройство.

Адреса шли не подряд и не по частям города. Тут была Гороховая и Васильевский, Пески и Коломна, Выборгская сторона и Охта — сорок точек, рассыпанных по столице так, что ни один участок не получал больше двух. Человек, составлявший эту роспись, заботился не об удобстве, а о том, чтобы в одном месте их не собиралось.

Числа в правом столбце были все осенние: с двадцатого сентября по пятнадцатое октября. Ни одного зимнего, ни одного весеннего. Сорок человек являлись куда-то в течение четырёх недель, по двое, по трое в день.

И каждый — раз в год, всегда в одно и то же число.

Он достал книжку и нашёл запись, сделанную на лестнице в Восьмой линии: «Отмечалась ежегодно, осенью. Место неизвестно». Против дома Брюн в списке стояло двадцать восьмое сентября. Соседка Марфуша говорила, что покойница уезжала «о ту же пору», а нашли её восьмого октября — стало быть, съездить она успела.

Старик с Гороховой должен был ехать третьего. Умер он двадцать девятого сентября.

Немов долго глядел на эти две строки.

Потом расплатился, вышел в переулок и остановился под фонарём, потому что ему понадобилось сказать себе вслух то, что он понял, — иначе оно не укладывалось.

— Их не сорок, — сказал он фонарю. — Их было сорок.

Глава восьмая. Поднадзорные

На Подьяческой Немов был в девятом часу.

Он шёл пешком от самой чайной, через Екатерининский канал, и ветер с воды бил в лицо мокрой крупой. Трижды он останавливался и трижды говорил себе, что идёт против прямого слова, что старик его выставит и что это будет справедливо.

Но идти было не к кому. Куницын подшил бы список в дело и велел ждать понедельника. Вера сказала всё, что могла, и сказала больше, чем ей позволял её собственный расчёт.

Дверь оказалась заперта. Немов стучал дважды, с перерывом, и уже повернулся уходить, когда за дверью прошли шаги.

— Я же просил, — сказали из-за двери.

— Просили.

— И что же?

— Савелий Кузьмич, — сказал Немов, — у меня сорок адресов.

За дверью помолчали. Потом лязгнул крюк.

Брыкин был трезв, и трезвость эта была нехороша.

Лицо у него отекло, веки набрякли сильнее прежнего, и за косяк он держался не для важности, а потому что стоять ему было трудно. В комнате пахло остывшей печью и нежилым. Со стола убрали бумагу и перья, чего в прошлый раз не

было, — и стол от этого сделался похож на обыкновенный обеденный, каких тысячи. Штоф стоял на прежнем месте, и в нём было ровно столько же, сколько две недели назад, — до половины. Значит, за все две недели к нему не прикоснулись, и значит, недели эти обошлись человеку дорого.

— Показывайте.

Немов положил список на стол. Брыкин взял его двумя руками, поднёс к лампе и стал читать.

Роспись лиц, состоящих на учёте по С.-Петербургу, с днями явки. Список с росписи, рукою Немова. 1. Гороховая, д. Кайдановой, комн. 22. Явка 3 октября. 2. Васильевский остров, 8-я линия, д. Брюн. Явка 28 сентября. 3. Лиговка, д. Кочкарёва, флигель при складе. Явка 7 октября. 4. Ямская, д. Стрекалова, квартира во дворе. Явка 14 октября. ... 40. Пески, 6-я Рождественская, лоток у церкви. Явка 12 октября.

Читал он долго, сверху вниз, ведя пальцем, и палец у него прыгал.

Потом он положил бумагу и сел.

— Откуда?

— Не скажу.

— Правильно, — сказал Брыкин. — Не говорите. — Он

потёр лицо ладонями. — Вы знаете, что это?

— Знаю, что оба мои покойника здесь.

— Это не ответ.

— Это всё, что у меня есть.

Брыкин встал, прошёл к комоду, достал оттуда не штоф, а жестяную коробку из-под монпансье, и вынул из неё папиросу — одну, мятую, видимо, давнишнюю. Закурил от лампы.

— Поднадзорные, — сказал он.

— Кто это?

— Люди, Аркадий Ильич. Обыкновенные люди, внесённые в Реестр.

Немов не сразу понял.

— В Реестр вносят нездешнее.

— В Реестр вносят то, что нельзя оставить без границ, — сказал Брыкин. — Иногда это нездешнее. А иногда человек, в котором оно сидит.

Он сел обратно и заговорил ровно, тем скучным служебным голосом, каким читают наставление новичку.

Немов слушал и понимал, что голос этот — защита. Так говорят о том, о чём не могут говорить иначе: врач о безнадежном больном, офицер о деле, где положили половину роты. Стоило Брыкину сбиться на человеческую интонацию, и он не выговорил бы ни слова.

Бывает, сказал Брыкин, что в человека садится. Бывает, что он с этим родится: кликуша, ведун, порченный, — в деревне таких знают и обходят. Что с ними делали до семь-

сот двадцать второго года, известно: жгли, топили, били на-
смерть, и чаще всего не потому, что были злы, а потому, что
от такого человека и впрямь бывает беда.

— А потом завели Департамент, — сказал Брыкин, — и
придумали третье. Не жечь и не оставлять. Вписать.

— Вписать человека.

— Вписать то, что в нём. Строка кладётся на существо, а
существо сидит в человеке. И выходит, что связаны оба. Он
живёт, а оно в нём не может сверх записанного. — Брыкин
затянулся. — Он живёт, Аркадий Ильич. Это главное. Он
ест, работает, ходит в баню, шьёт рубахи. Он просто состоит
на учёте.

— В чём состоит учёт?

— Раз в год явиться. Место и число назначаются при вне-
сении и не меняются никогда. Выехать из губернии — с раз-
решения. И не заводить того, чего нельзя отнять без шума,
— прибавил он и посмотрел на Немова. — Этого в правилах
нет. Это они сами.

Немов подумал о старухе, которая сама себя назвала кой-
кой номер четыре. О канарейке, которая была чужая, потому
что своей заводить не стали. О соседке Марфуше, с которой
пили чай по воскресеньям девять лет подряд и которая оста-
лась единственной живой памятью — и та без имени.

Он думал об этом и чувствовал, как холодеют пальцы, хо-
тя в комнате не было холоднее, чем на улице.

— Сколько их?

— В столице сорок. По империи — две тысячи с небольшим.

— Было сорок, — сказал Немов.

Брыкин положил папиросу на край блюда.

— Что вы сказали?

— Двое из этого списка мертвы. Старик с Гороховой, двадцать девятого сентября. Швея с Восьмой линии, восьмого октября. У обоих в книгах вместо имени проведена черта. Обоих не помнит никто: ни соседи, ни дворники, ни мать. Ни я.

— Ни вы?

— Я стоял над ней два с половиной часа, — сказал Немов.

— Я не помню её лица.

Наступила тишина. За стеной опять передвинули стул.

— Вас не берёт, — сказал Брыкин медленно. — Вас не берёт ничего, Аркадий Ильич, я это в вас с первой минуты почуял, и оттого вы мне и любопытны. Морок на вас не ложится. Внушение мимо. Вам нельзя отвести глаза, вас нельзя напугать нездешним, вы для них — стена.

— Знаю.

— Так вот, если вы не помните её лица, — сказал старик, — то дело не в мороке. Морок — это когда оно само отводит человеку глаза: велит не видеть, не помнить, видеть другое. Его кладут на живых, и на вас он не ляжет. А тут не на вас положено. Тут с неё снято.

Он встал и опять прошёл к окну, к той же занавеске, что

и в прошлый раз.

— Строку можно вычеркнуть, — сказал он в стекло.

— И что тогда?

— Тогда то, что держали словами, больше не держат. — Брыкин говорил тихо и внятно. — Оно выходит. Слабое без человека к весне гаснет: ему не за что держаться. Сильное уходит, и тогда его ищут заново. А человек этого не переживает. Ни один — так и в наставлениях стоит. Он умирает в ту же минуту, тихо, без крику. Врач напишет удар, и не соврёт: сердце у него и вправду станет.

— А бумаги?

— А бумаг у него больше нет, потому что по бумагам его больше нет. Вычеркнутый не убит, Аркадий Ильич. Он не бывал.

Немов сидел прямо, положив руки на колени, и отмечал про себя, что слушает спокойно. Спокойствие это было нехорошее, вроде той тишины, какая стоит в комнате за минуту до того, как в ней начнут кричать.

Он долго молчал. В голове укладывалось, и укладывалось плохо — не потому, что было непонятно, а потому, что становилось на место сразу и без зазора, как хорошо пригнанный ящик.

— Значит, их убивают через книгу.

— Их не убивают. Их вычёркивают. Убийство — это когда кто-то берёт нож. А тут берут перо, и по всем законам империи не происходит ровно ничего.

— Кто может вычеркнуть?

Брыкин обернулся от окна, и Немов увидел на его лице то самое выражение, какое видел уже у пятерых за эти две недели: сперва в глазах, потом у рта.

Только у этих пятерых был испуг.

У Брыкина — расчёт.

— Вписать могут девятнадцать, — сказал он. — А вычеркнуть — всякий, у кого есть право пера и ход к книге. Право пера — это присяга, год выучки и ключ от хранилища; у писцов его нет, и у вас нет. А выучку прошло больше, чем пишет: по империи таких с полсотни. Имени для этого не надо. И платить за это нечем, вот что скверно: запись у пишущего отнимает, а черта не отнимает ничего. Провёл по линейке — и ступай обедать. — Он помолчал. — Но чтобы вычеркнуть человека, мало мочь. Надо ещё знать, зачем.

— А зачем?

— Вот, — сказал Брыкин. — Вот это, Аркадий Ильич, и есть ваш вопрос. Не кто, а зачем. — Он взял со стола список и протянул его Немову двумя руками. — Забирайте и спрячьте. И ступайте домой, я вам сегодня больше ничего не скажу.

— Савелий Кузьмич.

— Ступайте. — Старик уже отворачивался. — Тридцать восемь, — прибавил он.

— Что?

— В вашем списке сорок строк. Двое вычеркнуты. Стало

быть, у вас на руках не список покойников, а список тех, кто ещё жив.

Глава девятая. Отказ

Прошение он писал два вечера.

Список, лежавший у него в столе под замком, был бумагой, которой не существовало. Предъявить его значило погубить Веру Аполлоновну и не получить ничего: на вопрос, откуда сведения, у Немова не было ответа, который не был бы ложью или доносом. Он понял это на другое же утро, трезвой головой, и понял заодно вторую вещь, более важную.

Список сам по себе не стоил ничего.

Сорок адресов — это сорок дверей, в которые можно постучать и которым нечего сказать. Немов уже стучал в две такие двери и знал, чем это кончается: жильца не помнят, бумаг нет, дело в архив. Ему нужен был не перечень, а устройство. Кто вносил этих людей. Кто назначал им числа и место. Кому они являются осенью и кто ставит отметку о явке.

Тот, кто принимает явки, видел их всех живыми. Тот, кто ведёт этим счёт, первым узнаёт, когда кто-то не пришёл.

С этого он и начал.

В понедельник Немов спустился в справочный стол и спросил, какая часть Департамента ведёт учёт годовых явок поднадзорных лиц. Ему ответили, что такого предмета не значится ни в одном расписании должностей. Он спросил, кто тогда принимает явки. Ему ответили, что для ответа на этот вопрос надобно знать, о каком предмете идёт речь, а

предмета не значится.

Круг замкнулся ровно и без злого умысла, как замыкался в этом доме всякий круг.

Тогда он пошёл к Замятнину.

Начальник Архива на этот раз принял его сидя, что означало расположение, и даже указал на стул. Немов спросил прямо: ведутся ли в Архиве книги годовых явок.

— Не ведутся.

— А где ведутся?

— В Списательской части.

— Кем?

Замятнин посмотрел на него поверх очков.

— Аркадий Ильич, вы служите девятый год и спрашиваете меня о Списательской части. Это всё равно что спрашивать у меня, что делается в Зимнем.

— Я спрашиваю не о том, что там делается. Я спрашиваю, кто ведёт книгу.

— А я не знаю, — сказал Замятнин, и Немов по голосу понял, что это чистая правда и что она начальника Архива унижает. — Я не знаю, голубчик. У меня четвёртый этаж, у них второй, мы с ними сносимся записками, и я за двадцать лет не был у них в комнатах ни разу.

Он помолчал и прибавил уже другим тоном:

— Подавайте прошение. Вам откажут, но вы будете знать, кто отказал. Иногда это всё, чего можно добиться.

Прошение вышло на полторы страницы.

Немов просил разрешить ему ознакомиться с книгами годовых явок за последние три года — не с Реестром, не с формулировками записей, а единственно с отметками о явке и неявке. Он перечислял основания: дело четыреста семнадцатое, второй разряд, два случая утраты записи, отказ управления от совместного производства. Он писал сухо и ни разу не употребил слова «вычеркнут».

Куницын прочёл, поморщился и подписал.

— Вам откажут.

— Знаю.

— Тогда зачем?

— Чтобы отказали письменно, Яков Осипович.

Куницын поглядел на него внимательно, снял очки и портёр переносицу.

— Аркадий Ильич. Я вас девятый год знаю. Вы человек не хитрый, и это в вас лучшее. Не начинайте хитрить теперь, у вас не выйдет.

— Я не хитрю.

— Вы собираете бумаги, — сказал Куницын. — Человек, который собирает бумаги об отказах, готовится их кому-то показать. Я вам не мешаю, я только хочу знать заранее: когда вы их покажете, меня в этой стопке не будет?

— Не будет.

Куницын надел очки, потом снова снял.

— И ещё одно, и вы этого не записывайте. Я подписываю бумаги со словом «нездешнее» тридцать лет. Ни разу его не

видел. Ни разу. Домовые, утопленники, порченные — всё это у меня проходит на бумаге, и на бумаге оно вполне убедительно. Вы принесли мне две книги с чертой вместо имени и говорите, что черта убивает. Я подписал второй разряд, потому что порча документов — это наше и потому что положено. Но верить я в это не обязан. И не верю.

— Я не прошу верить.

— Знаю, что не просите. Я говорю это для себя. Чтобы после, когда всё это кончится ничем, помнить, что я не верил с самого начала. Ну и ступайте.

Прошение ушло наверх во вторник, в четвёртом часу.

Ответ пришёл в четверг утром, и это было первое, что Немова насторожило. Он знал сроки: прошение идёт в приёмную, из приёмной в реестр входящих, из реестра к делопроизводителю, от делопроизводителя на резолюцию. Самое скорое, на что он рассчитывал, — десять дней, и он уже прикидывал, чем их займёт.

Пантелеймонов подал ему конверт в половине десятого.

Немов вскрыл его стоя, у конторки, и прочёл не садясь.

«На прошение коллежского асессора Немова о допущении к книгам годовых явок сообщается, что сведения о лицах, состоящих на особом учёте, составляют предмет, не подлежащий сообщению чинам иных отделений, независимо от разряда производимого дела. В допущении отказать».

Внизу стояла подпись. Немов посмотрел на неё дольше, чем следовало смотреть на подпись.

Модест Пшеничный.

Он отнёс бумагу к себе, сел и положил её на стол перед собою, а рядом положил своё прошение, точнее, отпуск с него, оставленный по форме. И долго сидел, переводя глаза с одной бумаги на другую.

Три недели назад этот человек остановил его на лестнице и сказал, что не отдаст дела в третье отделение, потому что там все шестеро одарённые, а Немову нельзя отвести глаза. Он говорил это без нужды, по доброй воле, зная, что подчинённый не смеет его о том спрашивать. Он сказал, что распорядится топить в Отделении дознаний. И в Отделении дознаний топили с того самого дня.

Тот же человек теперь запирает перед ним единственную дверь, за которой лежал ответ.

Немов перечёл отказ в третий раз и остановился на словах «независимо от разряда производимого дела».

Это была лишняя оговорка. Прошение его основывалось на разряде, и отказать можно было проще: сведения не сообщаются, и всё. Приписка отвечала на возражение, которого Немов не высказывал, — отвечала заранее, на тот случай, если он вздумает настаивать.

Так пишут не тогда, когда отказывают. Так пишут тогда, когда закрывают дверь наглухо.

Он взял перо и на чистом листе, для себя, столбиком, написал то, что знал наверное.

Первое: у сорока человек назначены числа и места явок,

и назначил их кто-то один.

Второе: книги этих явок ведутся в С писательской части, куда за двадцать лет не заходил даже начальник Архива.

Третье: двое из сорока умерли осенью, каждый в свою неделю, и оба не дожили до явки или дожили едва.

Четвёртое: доступ к этим книгам закрыт подписью вице-директора.

Пятое: вице-директор Департамента нездешних дел, Модест Аркадьевич Пшеничный, состоит в С писательской части, и Немов узнал это три недели назад из одного-единственного источника — из его собственных слов, сказанных на лестнице по доброй воле.

Немов посмотрел на пятый пункт и медленно его зачеркнул, потому что это было не знание, а догадка, а догадкам он в своих бумагах места не давал.

Потом взял чистый лист и переписал все пять пунктов заново, вместе с пятым.

В дверь заглянул Ряхин и сказал, что Куницын спрашивает, получен ли ответ.

— Получен, — сказал Немов.

— Отказ?

— Отказ.

Ряхин постоял, подержался за косяк и вдруг спросил — не насмешливо, а как-то неловко:

— Аркадий Ильич, а вы дальше-то что?

Немов поднял голову.

За окном, на Фонтанке, шёл дождь, и фонарщик, слишком ранний для четырёх часов пополудни, тащил лестницу вдоль набережной. В комнате было тепло. Топили четвёртую неделю, по распоряжению его превосходительства.

— Не знаю, — сказал Немов. — Подумаю.

Он сложил обе бумаги в папку, завязал тесёмки и до конца дня не сделал ничего.

Глава десятая. Решение

Думал он три дня.

Все три дня он ходил на службу, писал бумаги по другим делам, обедал в кухмистерской на Гороховой и возвращался к себе на Разъезжую в девятом часу. Со стороны это была обыкновенная жизнь обыкновенного чиновника, и никто в Отделении не заметил бы разницы, кроме разве Ряхина, который перестал отодвигаться вместе со стулом и вместо того стал изредка поглядывать.

Кухмистерская была из тех, где кормят чиновников восьмого класса: щи, каша, на второе котлета, в четверг пирог, за всё тридцать пять копеек. Немов ел там четвёртый год, за одним и тем же столиком у окна, и половой, не спрашивая, ставил перед ним щи и уходил. На второй день, в пятницу, он поймал себя на том, что смотрит на щи и не ест. Он смотрел на пар над тарелкой и думал, что швея варила морошку и не ела её, а только угощала. Потом взял ложку. Щи были горячие, и это было первое горячее за день, и он почувствовал, как тепло доходит до пальцев и не удерживается в них.

За соседним столом два титулярных советника из казённой палаты обсуждали, кому дадут Станислава к Новому году. Немов слушал и не понимал ни слова, как не понимают чужого языка, хотя пять лет назад слушал такие же разговоры и участвовал в них.

Домой он шёл пешком, по Гороховой до Загородного, потом по Разъезжей. Снег ещё не лёг, и под ногами была та петербургская осенняя жижа, которая не замерзает и не сохнет. Сапоги промокли к Загородному. Он знал, что промокнул, и не взял извозчика, потому что извозчик стоил двугривенный, а жалованье было до двадцатого.

Дома он снял сапоги, поставил их к печке и растопил. Дрова были сырые, и печь дымила первые четверть часа, как дымила всегда. За стеной у телеграфиста укладывали детей: кто-то не хотел, кто-то плакал, потом стихло, и стало слышно, как сам телеграфист, вернувшись со смены, ест — стучит ложкой о миску и говорит жене что-то короткое, и жена отвечает. Немов сидел у печки в носках, грел руки о кружку с чаем и слушал эту ложку.

Руки не грелись. Он давно перестал этому удивляться, но сегодня, слушая, как за стеной шестеро укладываются в двух комнатах, подумал, что за стеной тепло не от печки.

Он взвешивал.

За девять лет службы он не нарушил ни одного правила — не из добродетели, а потому что правила были устроены разумно и он это понимал лучше многих. Порядок допуска в Архив оберегал Реестр от человека, который захотел бы узнать лишнее. Запрет сообщать о поднадзорных оберегал самих поднадзорных: сорок человек, чьи имена стали бы известны, прожили бы до первого доноса. Всё было устроено правильно.

И всё это правильное устройство работало теперь на того, кто вычёркивал.

В пятницу вечером он сел за стол, взял лист и написал сверху: «Что я теряю». Ниже выписал: чин, девять лет службы, пенсион, доброе имя, возможность впредь заниматься этим делом вовсе. Потом взял второй лист, надписал «Что теряют они» и остановился, потому что писать было нечего: тридцать восемь строк, тридцать восемь человек, и он не знал ни одного имени.

Он сжёг оба листа в печи и на другой день пошёл в Архив.

Стоял конец октября, с Невы несло, и на Фонтанке уже шла шуга. Он поднялся на четвёртый этаж, отдал расписку унтеру и прошёл через комнату с клетями, мимо шести конторок, и за каждой подняли голову.

Вера Аполлоновна писала.

— У меня нет для вас справок, Аркадий Ильич.

— Я не за справкой.

— А за чем же?

Немов положил на её конторку отказ Пшеничного.

Она прочла, не беря в руки, сверху вниз, и не изменилась в лице. Только перо, которое она держала на весу, опустилось на подставку — аккуратно, без стука.

— Пойдёмте, — сказала она. — У нас есть комната с бумагой на списание. Там пахнет мышами, зато туда никто не ходит.

Комната оказалась в конце коридора, за поворотом, и в

ней вдоль стен до потолка стояли связки старых дел, перевязанные шпагатом. Пахло действительно мышами и пылью. Вера Аполлоновна затворила дверь и осталась стоять, прислонясь к ней спиной.

— Говорите.

— Мне нужны книги годовых явок, — сказал Немов. — Без них я ничего не могу. Я знаю сорок адресов и не знаю ни одного имени, а без имени я не могу ни предупредить, ни охранить, ни даже похоронить по-человечески. Официального пути нет, он закрыт этой подписью.

— И вы хотите пойти ночью.

— Я хочу пойти ночью.

Она молчала. Немов ждал и смотрел на связки дел за её плечом — сотни папок, каждая с печатью, каждая когда-то была чьей-то бедой, а теперь лежала в списании.

— Вы понимаете, что со мной будет, — сказала она наконец. Это был не вопрос.

— Понимаю.

— Не понимаете. Вас отставят от должности. Меня отставят от должности и запретят службу во всех ведомствах, а других ведомств, которые взяли бы женщину на такую работу, в России нет. Мне двадцать семь лет. У меня после отца остались долги, которые я плачу второй год.

— Я знаю. Я и не прошу вас идти.

— А как же вы попадёте?

— Через дверь, — сказал Немов. — У меня есть расписка

и право входа в дневные часы. Я войду днём и останусь.

Вера Аполлоновна посмотрела на него так, как смотрят на ребёнка, объясняющего, что до луны можно доехать в конке.

— Комнату запирают в семь и обходят в восемь. Унтер считает расписки: сколько взял, столько вернул. Вы не выйдете до утра и не сможете зажечь свет, потому что окна во двор, а во дворе ночной сторож. Книжки явок в С писательской части, на втором этаже, а не у нас. И на двери у них замок, к которому у меня нет ключа и никогда не было.

— Тогда я не попаду.

— Не попадёте.

— Значит, я пойду другим путём, — сказал Немов. — Их сорок. Я знаю адреса. Я обойду тридцать восемь дверей и в каждой спрошу про осеннюю поездку. Кто-нибудь да скажет — куда ездил и к кому.

— И через неделю об этом узнают все сорок участков, а через две — тот, кто вычёркивает.

— Вероятно.

— Не вероятно. Наверное.

Она отошла от двери, прошла вдоль связок и остановилась у окна — маленького, забранного решёткой, за которым виднелся кусок двора и крыша флигеля.

— Аркадий Ильич, вы приходите ко мне второй раз и второй раз кладёте на стол свою голову. Вам не приходит в голову, что я могу отнести этот ваш отказ наверх и получить за него благодарность?

— Приходит.

— И?

— И я всё равно пришёл, — сказал Немов. — Я не умею иначе. Вы про меня верно сказали в первый день: я не умею лгать. Это не добродетель, это неспособность, вроде глухоты.

Вера Аполлоновна засмеялась — коротко, без веселья, — и повернулась к нему.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда слушайте, и слушайте внимательно, потому что дважды я этого не повторю.

Она подошла ближе и заговорила негромко.

Книги годовых явок действительно хранятся в Списательской части, и туда хода нет ни ей, ни ему. Но всякая явка есть действие делопроизводственное, и всякое такое действие оставляет след не в одном месте, а в двух. Приняв явку, Списательская часть сносится с Архивом: в книгу Реестра против соответствующей строки ставится отметка о том, что лицо явилось и запись подтверждена. Отметку эту ставит архивный писец, и ставит он её не в Реестр — к Реестру писцов не подпускают, — а в обратную опись, которая после того подшивается.

— Обратные описи у нас, — сказала она. — В двенадцатом шкафу. За три года — девять связок.

— В них есть имена?

— В них есть номера строк и даты. Имён нет.

— Тогда они бесполезны.

— Нет, — сказала Вера Аполлоновна. — Потому что если

человек не явился, отметки не будет. Вы получите не имена, Аркадий Ильич. Вы получите номера строк, против которых в этом году отметки нет.

Немов стоял молча.

— Сколько их может быть?

— Не знаю. Явка кончается пятнадцатого октября. Сегодня двадцать третье. Опись за этот год уже сведена.

— А вы её видели?

— Нет, — сказала она. — Я её не открывала.

И вот тут, впервые за весь разговор, Немов заметил, что она лжёт, — не по лицу, лицо у неё было спокойное, а по тому, что она произнесла эти четыре слова на полтона ниже, чем все предыдущие.

Он не подал виду.

— Когда? — спросил он.

— Завтра. В воскресенье Архив закрыт, унтера нет, а я имею право входа по описи на списание, потому что списание идёт в конце месяца. Со мною может быть посторонний в качестве носильщика связок. — Она помолчала. — Наденьте что-нибудь похуже. В мундире носильщиков не бывает.

— Вера Аполлоновна.

— Что?

— Спасибо.

— Не благодарите, — сказала она и пошла к двери. — Я вам уже говорила: я это делаю не для вас.

Она взялась за ручку и остановилась.

— И ещё одно. Раз уж на то пошло. — Она говорила, не оборачиваясь, и голос у неё был ровный. — С книгами в Архиве кто-то работает по ночам. Не с нашими описями — с Реестром. Я знаю это по пыли: у нас там на полках шестой год пыль лежит слоями, а на двух шкафах она стёрта поперёк, как стирают рукавом. Я говорила Нилу Петровичу. Он сказал, что это сквозняк.

— Давно?

— Второй год, — сказала Вера Аполлоновна. — С прошлого октября.

С прошлого октября, подумал Немов. В прошлом октябре умер её отец.

Она вышла, и он остался один в комнате, где до потолка стояли связки старых дел и пахло пылью и мышами.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.